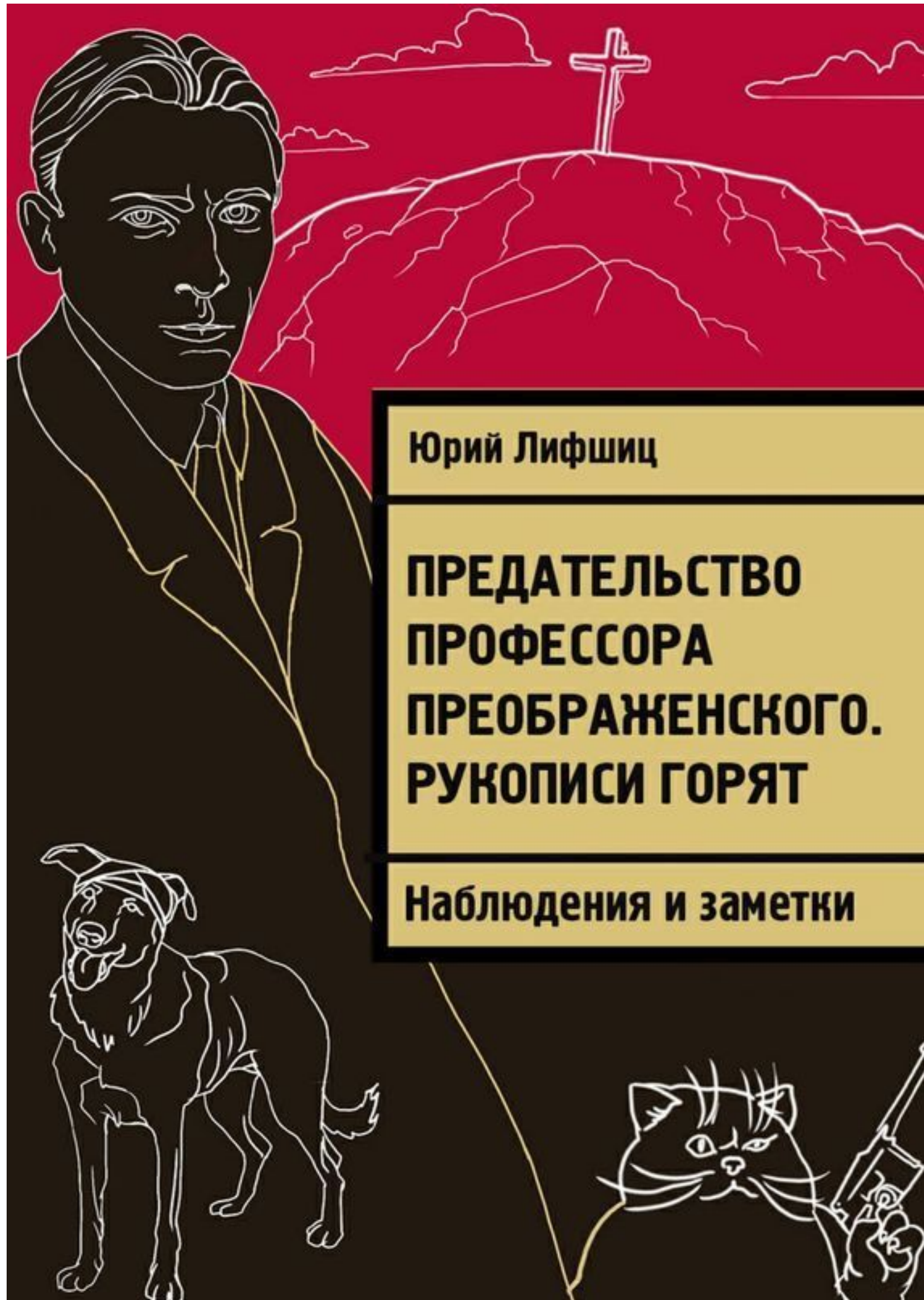




Юрий Лифшиц

**ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ПРОФЕССОРА
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО.
РУКОПИСИ ГОРЯТ**

Наблюдения и заметки

Юрий Лифшиц

**Предательство профессора
Преображенского. Рукописи
горят. Наблюдения и заметки**

«Издательские решения»

Лифшиц Ю.

Предательство профессора Преображенского. Рукописи
горят. Наблюдения и заметки / Ю. Лифшиц —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-901123-7

Шариков не настолько плох, профессор Преображенский не настолько хорош, как это принято думать; рукописи горят, Мастер с Маргаритой обретают в загробной жизни отнюдь не покой — это и многое другое узнает читатель из новой книги поэта и писателя Ю. Лифшица. Неординарные размышления автора, расходящиеся с общепринятыми трактовками, переданы легко, остроумно, изысканно и увлекательно. В оформлении обложки использована иллюстрация художника Александра Курочкина, выполненная им по просьбе автора.

ISBN 978-5-44-901123-7

© Лифшиц Ю.
© Издательские решения

Содержание

Предательство профессора Преображенского	6
1. Собачье сердце	6
2. Гениальный пес	8
3. Благодетель	10
4. Пациенты Преображенского	13
5. Непрошенные гости	15
6. Кулинарная полемика	18
7. Сытый голодного не разумеет	21
8. На убой	28
9. Перерождение	31
10. Детский сад	33
11. Что в имени тебе моем?	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Предательство профессора Преображенского. Рукописи горят Наблюдения и заметки

Юрий Лифшиц

© Юрий Лифшиц, 2018

ISBN 978-5-4490-1123-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предательство профессора Преображенского «Собачье сердце»: наблюдения и заметки

К 100-летию Октябрьской революции

*Изучение природы делает человека в конце концов таким же
безжалостным, как и сама природа.
Г. Уэллс. Остров доктора Моро.*

1. Собачье сердце

В 1988 г. режиссер Владимир Бортко посредством Центрального телевидения представил широкой российской публике свой безусловный шедевр – телефильм «Собачье сердце» (далее – СС), снятый по одноименной повести Михаила Булгакова (далее – МБ). Годом ранее, в 6-й книжке «толстого» журнала «Знамя» она уже была опубликована – впервые в России – и не осталась незамеченной. Неизвестно, какой была бы судьба СС в читательском восприятии без фильма, но потрясающая лента совершенно затмила книгу, навязав ей одну-единственную трактовку, безоговорочно принятую всеми слоями российского общества. Все были в полнейшем восторге. Еще бы! После 70-летней гегемонии рабочего класса невыразимо приятно было смаковать фразы типа «Я не люблю пролетариата», «Разруха не в клозетах, а в головах», «Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев» и пр. Фильм был сделан руками убежденного коммуниста, вступившего в ряды КПСС в самом что ни есть зрелом возрасте – 37 лет – и вышедшего из партии в 1991 г. на волне пресловутой перестройки. В 2007 г., однако, Владимир Владимирович снова стал коммунистом, на сей раз вступив в ряды КПРФ. Стало быть, что-то поменялось в мировоззрении режиссера, если он вторично сделался приверженцем тех же самых идей, какие не без помощи МБ столь талантливо высмеял в своей ленте. Впрочем, предполагать можно все, что угодно, а с течением времени не меняются только самые недалекие люди. Есть только один вопрос. Какой была бы трактовка главных образов повести, доведись Бортко снимать СС в настоящее время? Ничего определенного по этому поводу сказать невозможно, но фильм, полагаю, получился бы качественно иной.

Прошло 30 лет. Выкарабкавшись из-под развалин Советского Союза, Россия проделала большой и сложный путь в известном направлении. Началось осмысление того, что раньше принималось исключительно на эмоциях. Эмоции схлынули – заработал разум. Появились статьи, публикации, книги с альтернативными мнениями о повести. Например. «Тем, кто простодушно или своекорыстно считает чисто положительным героем профессора Преображенского, страдающим от негодя Шарикова, всеобщего хамства и неустройства новой жизни, стоит вспомнить слова из позднейшей фантастической пьесы Булгакова «Адам и Ева» о чистеньких старичках-профессорах: «По сути дела, старичкам безразлична какая бы то ни было идея, за исключением одной – чтобы экономка вовремя подавала кофе. ... Я боюсь идей! Всякая из них хороша сама по себе, но лишь до того момента, пока старичок-профессор не вооружит ее технически» (В. И. Сахаров. Михаил Булгаков: писатель и власть). Или: «7 и 21 марта 1925 года автор читал повесть в многолюдном собрании «Никитинских субботников». В первом заседании обсуждения не было, а вот потом братья-писатели свое мнение высказали, оно сохранилось в стенограмме (Гос. литературный музей)». Сахаров приводит «их выступления полностью», я же ограничусь только одним, принадлежащим литератору Б. Ник. Жаворонкову: «Это очень яркое литературное явление. С обще-

ственной точки зрения – кто герой произведения – Шариков или Преображенский? Преображенский – гениальный мещанин. Интеллигент, [который] принимал участие в революции, а потом испугался своего перерождения. Сатира направлена как раз на такого рода интеллигентов».

А вот еще. «Сатира в „Собачем сердце“ обоюдоостра: она направлена не только против пролетариев, но и против того, кто, теша себя мыслями о независимости, находится в симбиозе с их выморочной властью. Это повесть о черни и элите, к которым автор относится с одинаковой неприязнью. Но замечательно, что и публика на никитинских субботниках, и читатели советского самиздата в булгаковские 1970-е, и создатели, равно как и зрители фильма „Собачее сердце“ в 1990-е увидели только одну сторону. Эту же сторону, судя по всему, увидела и власть – может быть, поэтому издательская судьба „Собачьего сердца“ сложилась несчастливо» (А. Н. Варламов. Михаил Булгаков.) «Повесть Булгакова построена таким образом, что в первых главах профессор куражится, причем не только над мелкими советскими сошками, но и над природой, кульминацией чего и становится операция по пересадке гипофиза и семенных желез бездомному псу, а начиная с пятой главы получает за свой кураж по полной от „незаконного сына“, на самом что ни на есть законном основании поселяющегося в одной из тех самых комнат, которыми Филипп Филиппович так дорожит» (там же).

Неожиданно всплыл мало кому известный в России фильм итальянского режиссера Альберто Латтуады, первым экранизовавшем «Собачее сердце» (*Suore di cane*) в 1976 г. Картина оказалась совместной, итальянско-немецкой, и в немецком прокате называлась «Почему лает господин Бобиков?» (*Warum bellt Herr Bobikow?*). В этой ленте Бобиков, фигурирующий вместо Шарикова, представлен не таким монструозным, как в российском телефильме. Режиссер отнесся к нему с явным сочувствием, показав его несколько глуповатым, нелепым и странным недотепой. Мало того. У тамошнего Бобикова завязываются некоторая, не проявленная до конца связь с «социал-прислужницей» Зиной, относящейся к нему с жалостью и симпатией. Картина итальянца о революционной России, с моей точки зрения, получилась так себе, за одним исключением – блестяще сыгранной Максом фон Сюдовым роли профессора Преображенского. Сюдов решает роль кардинально иначе, нежели великолепный Е. Е. Евстигнеев, тем не менее шведский актер не менее убедителен, чем русский. В целом же, на мой взгляд, В. Бортко внимательным оком рассмотрел картину предшественника, прежде чем приступил к собственной версии.

Я назвал только две книги, но были и другие публикации с разного рода трактовок повести МБ. Накапливались и мои собственные наблюдения, требовавшие письменного воплощения. Но только видеоролик с убедительными размышлениями о произведении известного российского военного историка и археолога Клим Жукова показал: дальнейшее промедление с высказыванием о «Собачем сердце», имеющем подзаголовок «Чудовищная история», подобно отсутствию у меня высказывания как такового. А это далеко не так, в чем возможный читатель, надеюсь, убедится в самое ближайшее время.

Посему – приступим.

2. Гениальный пес

– У-у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю, – так начинает свои речи «говорящая собачка», ведущая, по воле автора, весьма осмысленные внутренние монологи.

Бедного пса ошпаривает кипятком «Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства», – отсюда и выше-приведенный вопль. «Какая гадина, а еще пролетарий», – мысленно восклицает пес, аттестующий себя впоследствии, то есть в образе человеческого, как «трудовой элемент». Дело начинается в 1924 г., это выяснится из главы II, когда один из пациентов профессора Преображенского, описывая клинические последствия операции, произведенной доктором, заявит:

– 25 лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на Рю де ла Пэ.

Что произошло спустя 25 лет после Рю де ла Пэ (улицы Мира в Париже), мы узнаем чуть позже, то есть этого больного, как скажет в свое время разумный пес, «мы разъясним».

Из дневника доктора Борменталья, обстоятельно фиксирующего все стадии хирургического эксперимента своего учителя профессора Преображенского, читатель узнает, что «человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу», появился на свет в декабре 1924 г. За день до операции, 22 декабря, ассистент записывает: «Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода – дворняжка. Кличка – Шарик. ... Питание до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания – крайне упитанный». Стало быть, начало нашей истории приходится на 15 декабря 1924 г., а ее финал – на март 1925 г.; об этом говорится в заключительной главе повести: «От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву». В «Мастере и Маргарите» головными болями будут страдать практически все, с кем так или иначе соприкоснется нечистая сила. Насколько чистой окажется сила профессора Преображенского – увидим. 1924–25 гг. – разгар новой экономической политики (НЭП) страны Советов, временного отката социалистической экономики на капиталистические позиции. Может быть, поэтому профессор Преображенский, чувствуя свою безнаказанность, открыто провозглашает, как заметил осторожный Борменталь, «контрреволюционные вещи».

Место действия СС – столица СССР, а в Москве – доходный калабуховский дом, элитное по тем временам жилье для богатых москвичей, как то «буржуй Саблин», «сахарозаводчик Полозов», ну, и, разумеется, «профессор Преображенский», проживающий в 7-й комнатной квартире, где Шарик в результате сложнейших медицинских эволюций сперва становится Шариковым, потом обратно Шариком.

Рассуждения пса, за вычетом чисто собачьего скуляжа «У-у-у-у», выказывают особь, знакомую не только со многими аспектами человеческой жизни, но и способную делать на основе увиденного вполне разумные выводы.

Во-первых, он знает толк в общепитовской кулинарии: «На Неглинном в ресторане „Бар“ жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикан по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя – все равно, что калошу лизать».

Во-вторых, понимает и чувствует музыку: «И если бы не гримза какая-то, что поет на лугу при луне – „милая Аида“ – так, что сердце падает, было бы отлично» (возьмем «Аиду» на заметку: пригодится в дальнейшем). Попутно по поводу словоупотребления «гримза». Арию «Милая Аида» в опере Верди поет начальник дворцовой стражи Радамес, а старой гримзой обычно называют женщин. Однако в толковом словаре Кузнецова сказано, что так говорят вообще «о старом сварливом человеке» без указания пола. Впрочем, собака

могла и перепутать, тем более что «Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие» (В. Ерофеев. Москва – Петушки).

Пес, в третьих, здраво рассуждает по поводу отношений, проистекающих между мужчинами и женщинами: «Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовы чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви».

В-четвертых, находится в курсе закулисной стороны человеческого бытия: «Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал».

В-пятых, умеет читать – научился по вывескам, а это не всякому человеку под силу, особенно в стране, еще не достигшей уровня поголовной грамотности: «Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката „Возможно ли омоложение?“»

В-шестых, подкован политически. Когда его запирают в ванной перед операцией, пес горестно думает: «Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать... Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

В-седьмых, в-восьмых... Я бы мог немало еще наговорить об этой достопримечательной собачьей личности, но думаю, сказанного пока что достаточно. После операции над Шариком ассистент профессора, все тот же доктор Борменталь отметит в своем дневнике: «Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречающих псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах». Он совершенно прав: чужая душа – космос.

«Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула и из нее показался гражданин», – продолжаю я цитировать поток собачьего сознания. – «Именно гражданин, а не товарищ, и даже – вернее всего, – господин. Ближе – яснее – господин». Уличный пес непостижимым образом узнаёт профессора Преображенского, причем не только по имени, но и по роду занятий. «Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили». И далее: «А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам». Именно так – «Филипп Филиппович, вы – величина мирового значения» – в главе VIII назовет Преображенского доктор Борменталь, уговаривая профессора истребить распоясавшегося Шарикова. Заметим: собака и человек называют профессора Преображенского по имени-отчеству.

Намек МБ недвусмыслен: эскулапа благодаря его опытам каждая собака знает, и, разумеется, будущий Шарик-Шариков далеко не первое живое существо, попавшее под скальпель знаменитого доктора, осуществляющего свои эксперименты «мирового значения». Борменталь собака не знает, называя его не иначе как «тяпнутый», то есть укушенный Шариком во время погрома, устроенного перепуганным псом в квартире профессора, перед тем как доктор взялись лечить ему ошпаренный поваром бок.

3. Благодетель

– Фить-фить, – посвистал господин, входя в повествование, как и собака, с междометия. Затем он «отломил кусок колбасы, называемой «особая краковская»», бросил псу «и добавил строгим голосом:

– Бери! Шарик, Шарик!»

Так происходит наречение пса, хотя, строго говоря, называет его этим именем за несколько минут до профессора «барышня» в «кремовых чулочках», под юбкой которой Шарик благодаря порывам «ведьмы сухой метели» заметил «плохо стиранное кружевное бельишко» – откуда и взялись собачьи разглагольствования о фильдиперсах и французской любви. «Опять Шарик. Окрестили», – думает наш пес. – «Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок». Подманить колбасой двое суток не евшую, ошпаренную и замерзшую скотинку «господину» труда не составляет. «Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью – как бы не утерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность».

– Здравия желаю, Филипп Филиппович, – прямо-таки с собачьей преданностью приветствует пришедшего швейцар дома в Обуховском переулке, тем самым отчасти подтвердив для читателя интуицию Шарика (имя-отчество господина названы, род занятий еще нет) и внушив псине благоговейный трепет перед своим спасителем и проводником в грядущий мир чистоты, сытости, тепла, уюта и... скальпеля.

«Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества?» Ведь, по мнению Шарика, швейцар «во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе». «Живодер в позументе» по имени Федор «интимно» сообщает Филиппу Филипповичу о вселении «жилтоварищей» «в третью квартиру», а когда «важный песий благотворитель» возмутился, добавляет:

– Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей.

Сообщив читателю, кроме этой, еще одну примечательную для нас подробность: «На мраморной площадке повеяло теплом от труб», – автор начинает повествовать о лингвистических способностях Шарика, сопроводив свой рассказ весьма ехидным замечанием: «Ежели вы проживаете в Москве, и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей научитесь грамоте, притом безо всяких курсов». И вообще: «Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово „колбаса“». Иными словами, если даже собаки ликвидируют собственную безграмотность самостоятельно, то на кой ликбезы людям, по определению, венцам творения? Большевики, однако, полагали иначе.

Количество бродячих собак явно взято «с потолка». Согласно переписи 1926 г. в Москве проживало чуть больше 2-х млн человек. Стало быть, по версии МБ, на 50 жителей приходился один уличный пес. Многовато будет, знаете ли. С другой стороны, Гамлет у Шекспира восклицает:

Офелия – моя!

Будь у нее хоть сорок тысяч братьев, —

Моя любовь весомее стократ!

Если так, то четвероногий персонаж повести – это своего рода густопсовый Гамлет среди сорока тысяч грамотных московских собак, беззаветно влюбленных в краковскую колбасу. И, подобно Гамлету, пес напорется в лихой час на холодное оружие.

Букву «ф» – «пузатую двубокую дрянь, неизвестно что означающую», – Шарик узнавать не удастся, и он, не доверяя самому себе, едва не принимает слово «профессор» на дверной табличке своего благодетеля за слово «пролетарий», но вовремя приходит в себя. «Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу» Филиппа Филипповича «и уверенно подумал: „Нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, а бог его знает – что оно значит“». Весьма скоро он об этом узнает, но свежее знание не принесет ему никакой собачьей радости. Скорее наоборот.

– Зина, – скомандовал господин, – в смотровую его сейчас же и мне халат.

И тут началось! Напуганный пес устраивает в квартире профессора содом и гоморру вместе взятые, но превосходящие силы противника все-таки одолевают и усыпляют животное – для его же, впрочем, пользы: «Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал».

– От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей, – запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

И далее:

– Р-раздаются серенады, раздается стук мечей! Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

А далее профессор будет напевать эти строки из «Серенады Дон Жуана» А. К. Толстого на музыку П. И. Чайковского на протяжении всей повести, перемежая этот мотив другим: «К берегам священных Нила», – из оперы Д. Верди «Аида», отчасти известной, как показал автор, и псу. Причем никого – а Филипп Филиппович будет извлекать из себя сии звуки все тем же «рассеянным и фальшивым голосом» даже при посторонних, – никого это не будет раздражать. Зато когда Шарик, ставший «мосье Шариковым», примется виртуозно наяривать на балалайке народную песню «Светит месяц» – вплоть до того, что профессор непроизвольно начнет подпевать, – то господина Преображенского музыкальные упражнения созданного им «человека маленького роста и несимпатичной наружности» начнут бесить несказанно, вплоть до головной боли.

– Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? – спросил приятный мужской голос.

Вопрос Борменталья дает профессору повод разразиться небольшой речью, в которой моральный аспект, приправленный назидательностью, свойственной пожилому человеку и педагогу, запросто сочетается с нападками на существовавшую в те годы власть коммунистов-большевиков.

– Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. ... Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему.

Поразительная вещь: под определение профессора – животное, «на какой бы ступени развития оно ни стояло», – подпадает и человек, поскольку именно людей обычно подвергают террору, тогда как террор по отношению к животным называется несколько иначе: скажем, истреблением или уничтожением популяции. Забегая вперед, отмечу: может быть, именно поэтому, убивая в конце повести «товарища Полиграфа Полиграфовича Шарикова... состоящего заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных», рафинированные интеллигенты Преображенский и Борменталь не слишком угрызаются совестью, ведь для них он не более чем животное, по словам профессора, «неожиданно явившееся существо, лабораторное». Или, как говорит Борменталь, намеревающийся «накормить» Шарикова «мышьяком»:

– Ведь в конце концов – это ваше собственное экспериментальное существо.

Собственное – отлично сказано! «Человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу», – собственность профессора, поэтому доктор имеет право делать с ним все, что угодно, вплоть до убийства? По-видимому, так. Для Преображенского смерть «лабораторного существа» – дело обыденное. Говорит же он до опыта над Шариком:

– Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом – «Аида». А я давно не слышал. Люблю...

«Кролик издох» – не справлять же по нему поминки, – а профессор как человек высокой культуры обожает культурно отдыхать.

С другой стороны, возможно, профессиональные навыки и представления Преображенского несколько доминируют в его сознании, так что он склонен произвольно переносить их в сферу социального общения. Запомним, однако, пассаж о ласке и посмотрим по ходу изложения, каким образом сочетается практика отношений профессора с людьми с его же теоретически «ласковыми» выкладками.

МБ устами Преображенского говорит о «белом, красном и даже коричневом» терроре. Первые два автор наблюдал непосредственно в эпоху революций и гражданской войны, а о коричневом, очевидно, знает из прессы, ведь штурмовые отряды (нем. *Sturmabteilung*) «коричневорубашечников», нацистские военизированные подразделения, были созданы в Германии еще в 1921 г.

Когда пес, улучив момент, все-таки «разъясняет» сову плюс разрывает профессорские калоши и разбивает портрет доктора Мечникова, Зина предлагает:

– Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, – профессор разволновался, сказав:

– Никого драть нельзя... запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением.

И скальпелем, добавим мы, опять же забегая вперед.

Есть еще один авторский намек, предвосхищающий переход пса из мира животных в мир людей. На приеме у Преображенского, глядя на типа, на голове которого «росли совершенно зеленые волосы», Шарик мысленно поражается: «Господи Иисусе... вот так фрукт!» А во время потопы, чуть позже устроенного Шариковым в квартире профессора, туда через кухню «просачивается» бабуся, которой:

– Говорящую собачку любопытно поглядеть.

«Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

– О, господи Иисусе!»

Никто из персонажей повести больше Спасителя не поминает, разве только те, кто еще не подвергся разрушительной, по мнению автора, атаке высокообразованных экспериментаторов – неважно, идеологической или научно-исследовательской.

4. Пациенты Преображенского

– Фить, фить. Ну, ничего, ничего, – успокоил подвергнутого лечению пса Преображенский. – Идем принимать.

Идем, говорим мы вслед за профессором, пока еще не понимая, кого или что принимать и зачем. Реплика «тяпнутого» – «Прежний» – дела не проясняет, и читатель вместе с псом готов подумать: «Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал». Ошибается собака, ошибается и читатель. Это оказалась как раз лечебница, но со странными пациентами. Взять хотя бы первого, то есть «прежнего». «На борту» его «великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень». Когда на требование доктора разоблачиться он «снял поло-сатые брюки», «под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами». В ответ на неизбежное профессорское «Много крови, много песен...» – а крови уже пролито и будет про-лито в избытке – из той же «серенады Дон Жуана», культурный субъект подпевает:

– «Я же той, что всех прелестней!..» – «дребезжащим, как сковорода, голосом». А в том, что «из кармана брюк вошедший роняет на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами», ничего страшного не находит даже гос-подин профессор, призвав только пациента не злоупотреблять – теми, вероятно, действи-ями, каковые тот как раз и производил 25 лет назад в районе парижской улицы Мира. Впро-чем, «субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал» красавицу «и густо покраснел». Еще бы не покраснеть! В его явно почтенном возрасте иные люди о душе думают, а не предаются юношеским порокам при помощи порнографических открыток, в чем он, не краснея, при-знается своему не менее почтенному доктору:

– Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями.

Затем он «отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег» (белые деньги – совет-ские червонцы) и, нежно пожав «ему обе руки», «сладостно хихикнул и пропал».

Следом возникает взволнованная дама «в лихо заломленной набок шляпе и со сверка-ющим колье на вялой и жеваной шее», и «странные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета».

(На момент написания повести МБ было 34 года. В таком возрасте представить себя стариком решительно невозможно. Зато можно язвительно заметить о пожилой женщине, что у нее «вялая и жеваная шея». И. Ильфу было 30 лет, Е. Петрову – 25, когда они хлестко написали в «Двенадцати стульях» о постаревшей любовнице Кисы Воробьянинова Елене Боур, что она «зевнула, показав пасть пятидесятилетней женщины». Д. Кедрин пошел еще дальше, написав в 1933 году:

И вот они – вечная песенка жалоб,
Сонливость, да втертый в морщины желток,
Да косо, по-волчьи свисающий на лоб,
Скупой, грязноватый, седой завиток.

И это о собственной матери! Поэту тогда было 26 лет.)

Дама пытается ввести доктора в заблуждение относительно своего возраста, но сурово выводится профессором на свежую воду. Несчастная женщина сообщает доктору причину своих печалей. Оказывается, она безумно любит некоего Морица, между тем «он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод». А когда она опять же по требованию профессора, не церемоня-щегося даже с дамами, принимается «снимать штаны», пес «совершенно затуманился и все

в голове у него пошло кверху ногами. „Ну вас к черту, – мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, – и стараться не буду понять, что это за штука – все равно не пойму“. Читатель тоже не совсем понимает, но смутно начинает кое о чем догадываться, когда профессор заявляет:

– Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны.

Изумленная сударыня соглашается на обезьяну, договаривается с профессором об операции, причем по ее просьбе и за 50 червонцев профессор будет оперировать лично, и, наконец, опять «колыхнулась шляпа с перьями» – но уже в обратном направлении.

А в прямом – вторгается «лысая, как тарелка, голова» следующего пациента и обнимает Филиппа Филипповича. Тут начинается вообще нечто экстраординарное. Судя по всему, некий «взволнованный голос» уговаривает профессора ни много ни мало как сделать аборт 14-летней девочке. А тот пытается как-то усовестить просителя, видимо, из смущения обращаясь к нему во множественном числе:

– Господа... нельзя же так. Нужно сдерживать себя.

Нашел кого воспитывать! А на возражение пришедшего:

– Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку, – доктор натурально «включает дурочку»:

– Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

Ну, так ведь к нему и пришли не как к юристу.

– Женат я, профессор.

– Ах, господа, господа!

Доподлинно неизвестно, соглашается ли Преображенский на предложенную ему гнусность, но, исходя из контекста СС, можно с большой долей уверенности сказать: да, соглашается. Высокопоставленный педофил приходит к профессору не случайно, а скорее всего по наводке осведомленных господ; доктор – блестящий профессионал и к тому же лицо частное, стало быть, все будет сделано превосходно и шито-крыто; да и прецедент пахнет отнюдь не жалкими 50-ю червонцами предыдущей дамы, а куда более крупной суммой – дельце-то ведь незаконное.

Прием продолжается: «Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук». А в результате: «„Похабная квартирка“, – думал пес». Если, заглянув в конец повести, размыслить над тем, как обошлись с ним самим, то можно сказать: предчувствия его не обманывают.

5. Непрошенные гости

Вечером того же дня к профессору наведается совсем иная публика. «Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно». Филипп Филиппович «стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались». Общается он с новыми посетителями качественно иначе, чем со своими пациентами.

Перебивает, не давая людям слова сказать.

– Мы к вам, профессор... вот по какому делу... – заговорил человек, впоследствии оказавшийся Швондером.

– Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду... во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские, – увещевает воспитаннейший господин тех, у кого нет не только персидских ковров, но даже калош.

Унижает вошедшего «блондина в папахе».

– Вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, – внушительно сказал Филипп Филиппович.

В ответ на попытку Швондера изложить суть дела напрочь игнорирует говорящего:

– Боже, пропал калабуховский дом... что же теперь будет с паровым отоплением?

– Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

Вне всякого сомнения – издевается, глумится, куражится.

Требуется разъяснить ему цель посещения:

– По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать, – а сам только затягивает разговор.

Наконец, вызывает ответную реакцию, поскольку следующую реплику Швондер произносит уже «с ненавистью»:

– Мы, управление дома... пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

Здесь интеллигентнейший профессор указывает «пришельцам» на неграмотное построение фразы.

– Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

– Вопрос стоял об уплотнении.

– Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

Швондер в курсе, но пытается урезонить Преображенского:

– Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. ... И от смотровой также.

Взбешенный доктор звонит своему высокопоставленному советскому покровителю Петру Александровичу и доносит до него сложившуюся ситуацию следующим образом:

– Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.

Совработник, судя по разговору, не шибко верит эскулапу, получившему в свое время железную «охранную грамоту», на что тот разражается следующим пассажем:

– Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц.

Если у вошедших и есть оружие, то они профессору револьверами не угрожают, разве что «взволнованный Швондер» обещает «подать жалобу в высшие инстанции». Никто Преображенского не терроризирует и не собирается отнимать часть квартиры. Ему всего-

навсего предлагают – по собственной воле – отказаться от пары комнат. Иными словами, ничего особенного не происходит. Доктор вполне мог своими силами отбиться от визитеров, однако он предпочитает подлить масла в огонь. При этом профессор начинает и заканчивает свою «апелляцию» чем-то вроде откровенного шантажа:

– Петр Александрович, ваша операция отменяется. ... Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Они... поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Подобного фортеля не ожидает даже выдавший виды председатель домкома:

– Позвольте, профессор... вы извратили наши слова.

– Попрошу вас не употреблять таких выражений, – срезает его Преображенский и передает трубку с Петром Александровичем на проводе.

Швондер получает крепкую нахлобучку от высоко сидящего начальства и, сгорая от стыда, произносит:

– Это какой-то позор!

«Как оплевал! Ну и парень!» – восхищается пес.

Пытаясь сохранить хоть какое-то лицо, «женщина, переодетая мужчиной», «как заведующий культотделом дома...» (– За-ве-дующая, – тут же поправляет ее образованнейший Филипп Филиппович) предлагает ему «взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука». Профессор не берет. Детям Германии он сочувствует (это неправда), денег ему не жалко (это правда), но...

– Почему же вы отказываетесь?

– Не хочу.

– Знаете ли, профессор, – заговорила девушка, тяжело вздохнув, – ... вас следовало бы арестовать.

– А за что? – с любопытством спросил Филипп Филиппович.

– Вы ненавистник пролетариата! – гордо сказала женщина.

– Да, я не люблю пролетариата, – печально согласился Филипп Филиппович.

Униженная и оскорбленная четверка в горестном молчании удаляется, исполненный благоговейного восторга «Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз», после чего «ненавистник пролетариата» в прекрасном расположении духа отправляется обедать. А напрасно он так запросто и снисходительно оскорбляет и унижает «прелестный», по его словам, «домком». Некоторое время спустя это ему аукается, например, в разговоре с тем же Швондером.

– Вот что, э... нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

– Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Так-то вот. Не следует настраивать против себя людей, могущих доставить тебе неприятности, несмотря на все твои «охранные грамоты». Ведь если бы профессор не вел себя со Швондером столь высокомерно и нагло, возможно, тот не стал бы впоследствии и сам писать доносы на Преображенского, и помогать в этом гнусном деле Шарикову.

Чем провинился перед профессором пролетариат, мы еще поговорим, а пока следует остановиться на пресловутом уплотнении. Как ни банально это звучит, но пролетарская революция в России делалась вовсе не в интересах «потустороннего класса» (Н. Эрдман. Самоубийца). По крайней мере, на первых порах новая власть содействовала угнетенным, стимулировав исход трудящихся из хижин во «дворцы». Рабочие в массе своей жили в казармах, мало чем отличавшихся от бараков грядущего ГУЛАГа, ютились в подвалах и полуподвалах, снимали углы и пр. Была, конечно, рабочая элита, высококвалифицирован-

ные трудящиеся, зарабатывающие не хуже инженеров. Были заводчики-оригиналы вроде А. И. Путилова, здоровавшегося с работягами за руку, организовывавшего для них школы, больницы, лавки с дешевыми товарами, но в целом рабочий класс жил по-скотски и радостно принялся уплотнять «буржуев». Ничего хорошего господам, проживающим в шикарных многокомнатных квартирах, уплотнение не сулило. Мирное сосуществование образованного и утонченного класса с грубым, сквернословящим, пьющим, не знающим правил приличия черным людом, подогретым лозунгами типа «Грабь награбленное!», было практически исключено. Как утверждает Википедия, «Вселение рабочих в квартиры интеллигенции неизбежно приводило к конфликтам. Так, жилищные подотделы были завалены жалобами жильцов на то, что „подселенцы“ ломали мебель, двери, перегородки, дубовые паркетные полы, сжигая их в печах». Мнение меньшинства, однако, почти не принималось во внимание, поскольку переселение в нормальное жилье соответствовало интересам большинства, а отапливать помещение при отсутствии парового отопления как-то надо было.

По поводу уплотнения издавались законы и выносились постановления, к каковым я отсылаю любителей давным-давно опубликованных первоисточников. Приведу только одну весьма характерную и не совсем внятную, на мой взгляд, цитату из брошюры В. И. Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?», опубликованную в октябре 1917 г., за несколько дней до переворота 25 октября (7 ноября) того же года (В. И. Ленин. ПСС. Т. 34): «Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из 15 человек: два матроса, два солдата, два сознательных рабочих (из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей), затем 1 интеллигент и 8 человек из трудящейся бедноты, непременно не менее 5 женщин, прислуги, чернорабочих и т. п. Отряд является в квартиру богатого, осматривает её, находит 5 комнат на двоих мужчин и двух женщин». Спустя буквально несколько дней после публикации теория вождя стала практикой и вовсе не такой благостной и безоблачной, как ему представлялось, породив массу злоупотреблений и преступлений. Впрочем, ему было все равно, поскольку «революцию не делают в белых перчатках».

Так в крупных российских городах, прежде всего в Москве и Петрограде, появляются коммунальные квартиры. Те самые коммуналки, где на «38 комнаток всего одна уборная» (В. Высоцкий. Баллада о детстве) и которые принято проклинать как безусловное зло, в свое время были подлинным благом для десятков тысяч рабочих и рабочих семей. «Буржуазному элементу» в ту пору было не до жиру, быть бы живу. Возможно, к декабрю 1925 г., о котором идет речь в повести, уплотнять было уже практически некого, ибо, как скажет в дальнейшем Шариков, «господа все в Париже»: туземные французские и отнюдь не по своей воле понаехавшие русские. Тем не менее поверим автору на слово и посмотрим, что там и как на обеде у профессора Преображенского.

6. Кулинарная полемика

А за обедом у Филиппа Филиппович происходит полемика МБ с... А. П. Чеховым (далее АЧ). Речи профессора – это прямой ответ секретарю съезда Ивану Гурьичу Жилину из чеховской «Сирены». И не просто ответ, а резкое, жесткое и, я бы даже сказал, гневное возражение. Преображенский как персонаж полемизирует с Жилиным, МБ как писатель и гражданин – с АЧ.

Жилин говорит:

– Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать.

Преображенский ему вторит, переходя от частного тезиса о правильном закусывании к общему – о правильном питании:

– Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и, представьте себе, большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда и как.

Булгаковский герой, прошу заметить, вслед за чеховским в разговоре о еде обращается к персонажу, называемому по имени и отчеству. Только Преображенский рассуждает во время обеда, а Жилин – до.

– Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка, – говорит Жилин. – Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом... объединение!

Жилину возражает Преображенский, заставивший Борменталья закусить рюмку водки чем-то похожим «на маленький темный хлебик»:

– Заметьте, Иван Арнольдович: холодными закусками и супом закусывают только не дорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок – это первая. Когда-то их великолепно готовили в Славянском Базаре.

Селедка, икра, редька, рыжики соленые... Секретарь съезда как раз таки «оперирует» закусками холодными и получает время спустя недвусмысленный отлуп от профессора медицины. Почему Преображенский, сам тоже из недорезанных, так пренебрежительно, с употреблением «революционной» лексики, отзывается о собратях по классу, непонятно. Может, МБ тем самым пеняет АЧ, положившему жизнь на описание разного рода русских «вырожденцев», на то, какими слабыми, ничтожными, неспособными на сопротивление те оказались в лихую годину? А может быть, на то, что именно «недорезанные» и выпестовали будущих Шариковых? Или проглядели их появление?

– Когда вы входите в дом, – смакует Жилин, – то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью «его же и монаси приемлют», и выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом этак не спеша, поднесете ее, водочку-то, к губам и – тотчас же у вас из желудка по всему телу искры...

Преображенский и водку пьет иначе, чем Жилин, без всяких там пищеварительных моментов предвкушения и оттягивания удовольствия, а именно: «Филипп Филиппович... вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло». «Вышвыривает» Преображенский именно из рюмки, а не из стаканчика с надписью «его же и монаси приемлют», как

советует Жилин, восставая против рюмок. Иные времена – иная посуда. Не до «дедовского допотопного серебра», возможно, уже реквизированного или проданного ради куска хлеба. Впрочем, свой «мировой закусон» профессор медицины, имеющий серьезного покровителя в советских органах, подцепляет на «лапчатую серебряную вилку», стало быть, реквизиция «недорезанному» пока не грозит.

Секретарь у АЧ упоминает, кстати, и горячие закуски: налимью печенку (возможно, ее подавали и холодной), душные белые грибы (это то же самое, что и тушеные, только душные) и кулебяку.

– Ну-с, перед кулебякой выпить, – продолжал секретарь вполголоса... – Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этаким кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком...

У МБ ничего не говорится о второй рюмке, но ведь не мог же русский человек за обедом обойтись всего лишь одной. Не мог. Надо полагать, не обошлись и Преображенский с Борменталем. «Вторительно» они закусывали... супом вопреки заклинаниям профессора: «Засим от тарелок подымался пахнувший раками пар». Кстати и замечание о порозовевшем «от супа и вина» Борментале, «тяпнутом» Шариком накануне.

Суп остался вне писательской компетенции МБ, а у АЧ секретарь и по поводу супов разливается «как поющий соловей», не слышащий «ничего, кроме собственного голоса»:

– Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохлацкий манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропом. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек, а ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зелеными: морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией.

Жилин и Преображенский сходятся еще в одном вопросе. Секретарь съезда советует:

– Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном; умное да ученое всегда аппетит отшибает. Сами изволите знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди и хуже их, извините, не едят даже свиньи.

Профессор медицины настоятельно рекомендует:

– Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине.

Большевизм и медицина как раз входят в разряд «умных да ученых» тем, начисто «отшибающих аппетит».

По поводу газет, однако, наши герои высказывают сугубо противоположные мнения.

Жилин:

– Этак ложитесь на спинку, животиком вверх, и берите газетку в руки. Когда глаза слипаются и во всем теле дремота стоит, приятно читать про политику: там, глядишь, Австрия сплеховала, там Франция кому-нибудь не потрафила, там папа римский наперекор пошел – читаешь, оно и приятно.

Преображенский:

– И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. ... Я произвел тридцать наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. ... Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.

Послеобеденный досуг и у АЧ, и у МБ – сигарный. У первого – под запеканочку:

– Домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж, и кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе...

У второго – под Сен-Жюльен – «приличное вино», которого «теперь нету», или под что-нибудь другое, о чем не говорится (ликеров профессор не любит).

Чеховского героя после обеда охватывает дрема, как Шарикова: «Странное ощущение, – думал он (Шариков – Ю. Л.), захлопывая отяжелевшие веки, – глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу». Перед этим «Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа». То же самое, надо полагать, употребляют и Преображенский с Борменталем, а значит, перечень и распорядок блюд у МБ практически совпадают с чеховскими, только у АП рыбная и мясная перемены расписаны живыми, сочными, аппетитными, гастрономически выверенными красками:

– Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное, благодетель. Из рыб безгласных самая лучшая – это жареный карась в сметане; только, чтобы он не пах тинной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки. ... Но рыбой не насытишься, Степан Францыч; это еда несущественная, главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое.

После обеда Жилин, прямо как Манилов, думает о всяческой дребедени:

– Будто вы генералиссимус или женаты на первой красавице в мире, и будто эта красавица плавает целый день перед вашими окнами в таком бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей: «Душенька, иди поцелуй меня!»

Преображенский – пространно рассуждает о мировой революции и диктатуре пролетариата (об этом позже).

АЧ устами Жилина скептически отзывается о врачах и имеет на то полное право, ибо сам доктор:

– Катар желудка доктора выдумали! Больше от вольнодумства да от гордости бывает эта болезнь. Вы не обращайтесь внимания. Положим, вам кушать не хочется или тошно, а вы не обращайтесь внимания и кушайте себе. Ежели, положим, подадут к жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить к этому куропаточку или парочку перепелочек жирненьких, то тут про всякий катар забудете, честное благородное слово.

МБ, тоже доктор, делает врачей вершителями судьбы человеческой, наделяет их свойствами и качествами демиурга и пророков.

7. Сытый голодного не разумеет

«Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт», – так в самом начале повести аттестует безымянный на ту пору пес приближающегося к нему господина. Интуиция собаки подтверждается и в этом случае. Стол у профессора богатый, изысканный, кстати говоря, не без холодных закусок. «На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, – икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками». А тут еще «Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. „Сады Семирамиды“! – подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой».

– Сюда их, – хищно скомандовал Филипп Филиппович ... – Доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... Я ваш кровный враг на всю жизнь.

«Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик», – на котором мы сейчас и остановимся. МБ не разъясняет, чем именно закусывали врачеватели, пропустив по первой. Современники писателя, полагаю, прекрасно его поняли, а нам что делать? А нам остается разве что заглянуть в книгу В. Гиляровского «Москва и москвичи» и разыскать там главу «Трактиры»: «Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шутовская рябиновка и портвейн Лева №50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое пронесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, **жареные мозги дымились на черном хлебе** (полужирный шрифт мой – Ю. Л.) и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона». Заметим некоторое кулинарное сходство между трактирным столом у Гиляровского и домашним – у МБ и пойдем дальше. Поскольку ничего иного больше у нас нет, то и выходит, что лучшая закуска под сорокаградусную – горячие жареные мозги с черным хлебом. То есть профессор не только, говоря по-современному и, как обычно, забегая вперед, выносит мозг окружающим своим витийством, не только терзает скальпелем «человеческие мозги», но и с аппетитом уплетает их – в их телячьем, конечно же, или каком-либо ином воплощении. Если я прав, и речь действительно идет о жареных мозгах, то, возможно, МБ намеренно не стал говорить о кулинарно-закусочном предпочтении Преображенского, чтобы читатели самостоятельно пришли к сформулированному мною выводу.

– Если вы заботитесь о своем пищеварении, – ораторствует доктор, хлебная раковая супчик, – мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине, – а сам между тем без умолку говорит именно о большевиках, большевистской власти и обо всем медицинском.

Послеобеденные рассуждения профессора под сигару и «Сен-Жюльен – приличное вино... но только ведь теперь же его нету» придется комментировать едва ли не пословно, но делать нечего, ведь его «слова огня» не только выявляют отношение Преображенского к окружающей действительности, но и раскрывают его внутренний мир. Филиппики Филиппа Филипповича начинаются после того как «Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал донесся откуда-то сверху и сбоку». Узнав от своей прислуги Зины о том, что жилтоварищи

– Опять общее собрание сделали, – профессор начинает кричать.

Он вообще постоянно кричит (и чертыхается) на всем протяжении повести, даже в ситуациях, не требующих крика. Больше него не кричит (и не чертыхается) в СС никто. Дотошный читатель может это проверить сам. На сей раз Преображенский восклицает:

– Пропал калабуховский дом. ... Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее.

Больше всего доктора беспокоит отопление. В самом деле – кому охота мерзнуть в собственной 7-комнатной квартире. Чуть ниже он скажет:

– Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция – не нужно топить.

Поэтому давайте внесем ясность в данный вопрос. В самом начале моих заметок, когда профессор приводит в дом пса, я обратил внимание читателей на фразу «На мраморной площадке повеяло теплом от труб». Значит, тогда с паровым отоплением было все в порядке. После разглагольствований профессора о разрухе, о чем мы с вами еще потолкуем, автор не без иронии замечает: «Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире». Это замечание напрочь опровергает сказанное Преображенским. Хорошо. Допустим, он говорит на основании чужого опыта. У него есть телефон, он встречается и общается с коллегами, и они могли нагнать на него ужас о своих холодных, нетопленных жилищах. Однако накануне операции над Шариком, когда тот спокойно наблюдает за священнодействиями Преображенского, «Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате». А незадолго до финала МБ констатирует: «Серые гармонии труб играли». То есть на всем протяжении повествования профессор совсем не мерз. А ведь о себе в послеобеденной беседе с Борменталем он не без гордости говорит так:

– Я – человек фактов, человек наблюдения. Я – враг необоснованных гипотез. ... Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод.

Почему же он делает неверные выводы из несуществующих фактов?

– С 1903 года я живу в этом доме, – рассуждает доктор. – И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая... чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. ... В марте 17-го года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих. ... Спрашивается, – кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок). Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок). Ни в коем случае!

Профессор совершенно прав: калоши могли пропасть именно в марте 17-го года, аккуратно после февральской революции, когда А. Ф. Керенский, став министром юстиции, по сути дела упразднил прежнее судопроизводство, разогнал судебных деятелей и вместе с политзаключенными амнистировал уголовников. Урки заполонили улицы Москвы и Петрограда, и никакой управы на них не было. В то время это было известно всем и каждому, включая докторов. Как, впрочем, и то, что пролетарии и люмпен-пролетарии – это не одно и то же.

– Но я спрашиваю, – мечет громы и молнии профессор, – почему, когда началась вся эта история, – все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? ... Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

– Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, – не без оснований возражает учителю Борменталь.

– Ничего похожего! – громовым голосом ответил Филипп Филиппович. – ... На нем есть теперь калоши и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года.

Несколько часов назад профессор собственноручно пеняет Швондеру и К°, пришедших его «терроризировать»:

– Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, – а теперь начисто об этом забывает.

Обличая и негодуя, доктор ставит себя в комическое положение: якобы он двумя парами калош, скраденных у него, окалошил всех безкалошных пролетариев – как Спаситель накормил пятью хлебами и двумя рыбами «около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (Мат. 14:21). На это чуть ниже намекает и МБ: «Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку». Ничего, кроме улыбки, у читателя это вызвать не может.

– Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц?

– Разруха, Филипп Филиппович, – дает абсолютно точный ответ Борменталь.

И нарывается на жесткую отповедь, не обоснованную никакой реальностью.

– Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. ... Это – мираж, дым, фикция. ... Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует.

Пассаж про «старуху с клюкой» растолковывает Б. В. Соколов в своей фундаментальной Булгаковской энциклопедии (где почему-то ничего не сказано о «маленьком темном хлебике»): «В начале 20-х годов в московской Мастерской коммунистической драматургии была поставлена одноактная пьеса Валерия Язвицкого (1883—1957) „Кто виноват?“ („Разруха“), где главным действующим лицом была древняя скрюченная старуха в лохмотьях по имени Разруха, мешающая жить семье пролетария».

Теперь о перебоях с электричеством. Действие СС, как я уже сказал, разворачивается в 1925 г., а за предшествующие 20 лет в России происходят следующие события:

1. Русско-японская война, начатая, правда, годом ранее, но завершившаяся поражением России в 1905 году. (Профессор, напомним, живет в «калабухове» с 1903 г.) «Россия затратила на войну 2452 млн рублей, около 500 млн рублей было потеряно в виде отошедшего к Японии имущества». Русская армия потеряла убитыми от 32 до 50 тыс. человек. «Кроме этого, от ран и болезней скончались 17 297 русских... солдат и офицеров» (здесь и далее: данные взяты из Википедии – Ю. Л.).

2. Революция 1905—1907 гг. «Всего с 1901 по 1911 год в ходе революционного террора было убито и ранено около 17 тысяч человек (из них 9 тысяч приходится непосредственно на период революции 1905—1907 гг.). В 1907 году каждый день в среднем погибало до 18 человек. По данным полиции, только с февраля 1905 г. по май 1906 года было убито: генерал-губернаторов, губернаторов и градоначальников – 8, вице-губернаторов и советников губернских правлений – 5, полицеймейстеров, уездных начальников и исправников – 21, жандармских офицеров – 8, генералов (строевых) – 4, офицеров (строевых) – 7, приставов и их помощников – 79, околоточных надзирателей – 125, городских – 346, урядников – 57, стражников – 257, жандармских нижних чинов – 55, агентов охраны – 18, гражданских чинов – 85, духовных лиц – 12, сельских властей – 52, землевладельцев – 51, фабрикантов и старших служащих на фабриках – 54, банкиров и крупных торговцев – 29». Власти отвечали арестами, карательными мерами и погромами.

3. Первая мировая война 1914—1918 гг. «Всего за годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из которых погибло от 9 до 10 миллионов. Жертвы гражданского населения оцениваются от 7 до 12 миллионов человек; около 55 млн человек получили ранения. ... В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская». По разным источникам потери русской армии составили: уби-

тыми и пропавшими без вести – от 700 до 1300 тыс. человек; ранеными – от 2700 до 3900 тыс. человек; пленными – от 2000 до 3500 тыс. человек.

4. Февральская революция 1917 г. «Хотя Февральская революция именовалась „бескровной“, в действительности это было не так – только в Петрограде и только со стороны восставших в дни свержения старой власти погибло около 300 человек, около 1200 человек были ранены. На Балтийском флоте было убито около ста офицеров. Кровь пролилась во многих местах России. Начало Гражданской войны в России ряд историков отсчитывают от февраля 1917 года».

5. Октябрьская революция 1917 г. и последовавшая за ней

6. Гражданская война, длившаяся по июль 1923 г. «В ходе Гражданской войны от голода, болезней, террора и в боях погибло (по различным данным) от 8 до 13 млн человек. ... Эмигрировало из страны до 2 млн человек. Резко увеличилось число беспризорных детей... По одним данным в 1921 году в России насчитывалось 4,5 млн беспризорников, по другим – в 1922 году было 7 млн беспризорников. Ущерб народному хозяйству составил около 50 млрд золотых руб., промышленное производство упало до 4—20% от уровня 1913. ... Сельское производство сократилось на 40%».

Не случайно Дарья Павловна, прогоняя Шарика со своей кухонной территории, вопит:

– Вон! ... вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!.. – поскольку от беспризорных детей после всех революционных перипетий не было спасения ни «чистой публике», ни уличным торговкам, ни даже нэпмановским лавкам и лабазам.

А великий ученый доктор ни о чем таком не знает, не ведает?! Где же он жил все это время? За границей? Отнюдь нет. Если он не уехал сам или его не выслали из России на печально известном «философском пароходе», как более двухсот «видных юристов, врачей, экономистов, деятелей кооперации, писателей, журналистов, философов, преподавателей высшей школы, инженеров» (электронная версия Большой российской энциклопедии), стало быть, он принял Советскую власть, стал сотрудничать «с режимом», потому и не вошел в число людей, которых, по словам Л. Д. Троцкого, «выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». И рассуждает профессор именно о 20-и годах, в течение которых в Москве, несмотря ни на какие катаклизмы, электричество «тухло... два раза». Всего два раза – за 20-то лет! Значит, пролетарии, ненавидимые эскулапом, все-таки работают, трудятся в условиях войн и революций, по 12—14 часов в сутки занимаются «прямым своим делом» – обеспечением его комфортной жизни, проживая при этом в бараках, подвалах и полуподвалах, в глаза не видя ни осетрины, ни ростбифа с кровью, ни ракового супа, ни семги, ни маринованных угрей, ни икры, ни сыра со слезой. 20 лет страна буквально ходит ходуном, в Москве и Петрограде едва ли не ежедневно звучат выстрелы, погибают люди, наконец, идет война, унесшая миллионы жизней, – а профессор Преображенский сидит в своей скорлупе, изучает медицину, оперирует, преподает, пишет научные работы, выстраивает свои медицинские теории, зажав уши, закрыв глаза, отрешившись от окружавшего его хаоса?! Прямо как в стихотворении Б. Пастернака «Про эти стихи»:

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Или профессор обо всем забыл?

– Если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха, – продолжает вещать Преображенский. – Если я, входя

в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха.

Все так, но нельзя же бытовыми или субъективными факторами подменять объективные, перечисленные мною выше.

– Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» – я смеюсь. ... Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха исчезнет сама собой.

Вот оно что! Оказывается, люди, окружающие профессора, пригодны только на то, чтобы заниматься тяжелым физическим трудом. Это их святая обязанность, поскольку они призваны трудиться на господина Преображенского и таких, как он. «Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул», – пишет МБ. «Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, – мутно мечтал пес», которому профессор своими речами «все мозги разбил на части, все извилины заплел» (В. Высоцкий). «Первоклассный деляга», – делает вывод одурманенная словесами собака.

– Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более – людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!

Нечто похожее о славянских народах напишет один начинающий немецкий писатель в книге под названием «Майн кампф», опубликованной как раз в 1925 г.

Сам профессор, естественно, не отстал от европейцев, он даже опережает их благодаря своей медицине, и уж конечно, он «уверенно застегивает свои собственные штаны». Вывод очевиден: эскулап ненавидит и презирает собственный народ, отказывая ему в праве самостоятельно устраивать собственную судьбу, учиться, получать образование, развиваться. Сколько сарказма, презрения и недоумения содержит, скажем, эта его фраза:

– Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого.

Дескать, «смерд, непросвещенной грубиян» (Б. В. Шергин. Слово о Ломоносове), а вот поди ж ты – стал человеком. Профессору в отличие от А. Н. Некрасова (стихотворение «Школьник») противно думать, что:

...архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.

Это не вписывается в его картину мира, противоречит его образу мыслей, мешает жить, существовать или, если подобрать более точный глагол, – обывать.

Сам-то Преображенский – кто? Он что, от рождения доктор и профессор медицины? Его «Отец – кафедральный протоиерей» – едва ли был доволен профессиональным выбором сына. Возможно, у будущего эскулапа были разногласия с батюшкой и на религиозной почве, ведь сынок, каким он показан в повести, – стопроцентный атеист. Может быть, священнослужитель, принадлежащий к так называемому белому духовенству, несмотря ни на что, оплатил учебу сына, но вполне вероятно, юный Филипп Преображенский получал образование так, как подавляющее большинство тогдашних молодых людей российской империи: голодал, недосыпал, бегал по урокам, добывая деньги на жизнь и на оплату курса. А тем временем... Приведу цитату из совершенно другой эпохи, но как нельзя лучше подходящую к данной ситуации: «Прожил ты свои 30 лет (профессору 60 – Ю. Л.) и всё время чего-то жрал. Вон – крепко пил, сладко спал. А в это время целый народ на тебя горбил, обувал тебя, одевал. Воевал за тебя!» (С. С. Говорухин. Место встречи изменить нельзя).

И про испанских оборванцев – в точку. МБ словно предвидит события в фашисткой Испании, когда СССР помогал республиканцам в войне против франкистов. Но помогать все-таки надо. Если бы в свое время Россия не помогла, говоря словами профессора, болгарским оборванцам под Шипкой и Плевной, то Болгарии как государства, возможно, не существовало бы. Правда, Преображенский – какая ему разница! – несколько путает: девушка, похожая на юношу, предлагает профессору помочь голодающим детям Германии, которую после поражения в Первой мировой войне облагают совершенно неподъемной для нее контрибуцией и где в силу этого царит повальный голод. В фильме Бортко реплика профессора отредактирована: вместо «испанских оборванцев» говорится «иностранных оборванцев». «Двум богам служить нельзя», искажая и передергивая евангельскую цитату насчет Бога и мамоны, кричит Преображенский, поэтому сам он служит – истово и праведно – только одному богу: самому себе. Поэтому и не видит дальше собственного носа, поэтому и кипит демагогическим негодованием, поэтому и изрекает, как пророк, ныне знаменитое:

– Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.

Все верно. Разруха не в клозете Филиппа Филипповича, потому что там порядок наводят его «социал-прислужницы» Зина и Дарья Петровна. Разруха – в голове доктора, потому что там навести порядок некому: воистину – без царя в голове!

Нет, все он знает и помнит! Помнит расстрелы, экспроприации, унижения, свое растоптанное человеческое достоинство, возможно, репрессированных или покинувших Россию коллег и знакомых. Помнит холод и голод послереволюционной Москвы, когда рухнула прежняя сытая жизнь и, чтобы выжить, приходилось продавать припрятанное и не экспропрированное. Помнит, но старается не думать об этом, начисто вычеркнуть из памяти – потому что до смертного ужаса боится «восставшего хама», «прелестного домкома» и грязных валенок на мраморных лестницах и персидских коврах. Потому и вызывает:

– Городовой! Это и только это. И совершенно неважно – будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городского рядом с каждым человеком и заставить этого городского умерить вокальные порывы наших граждан. ... Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

Профессор принимает – не только телом, но и душой – даже ненавидимую им Советскую власть – лишь бы жизнь текла в нормальном, с его точки зрения, русле.

– Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух...

А городской «в красном кепи» пусть следит за пролетарием, а пролетарий пусть исполняет свое главное предназначение – тяжело трудиться, горбить, а не соваться со своим свинным рылом в калашный ряд профессоров Преображенских. Абсолютно прав был другой немецкий писатель, сказавший: «Но есть и такие, что считают за добродетель сказать: „Добродетель необходима“; но в душе они верят только в необходимость полиции». (Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. О добродетельных). Так мог бы рассуждать будущий Шариков, выйдя он из-под докторского скальпеля образованным и культурным человеком.

Потому «Филипп Филиппович вошел в азарт» в процессе разговора, что уверен: «приставленный» к нему заступник вечно будет осенять его своими высоко взнесенными крылами. Потому и отвечает на замечание Борменталья о контрреволюционности своей обывательской болтовни:

– Никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Увы, нет в них ни здравого смысла, ни житейской опытности. Будь они в наличии, профессор как минимум не уверовал бы в то, что наступившие вслед за военным коммунизмом времена новой экономической политики – это «всерьез и надолго». Совсем не случайно «женщина, переодетая мужчиной», говорит ему перед уходом:

– Если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступались бы самым возмутительным образом... лица, которых, я уверена, мы еще разьясим...

Глагол «разьяснить» на чекистском жаргоне того времени означал – арестовать и расстрелять. Когда в СССР наступит очередная «пора разьяснения», от которой не будет застрахован никто, Швондер и его домком припомнят профессору все. А если их самих к тому времени «разьяснят», то свято место пусто не бывает...

8. На убой

Потекла сладкая собачья жизнь. «В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. ... Филипп Филиппович окончательно получил звание божества». Хулиганства, впрочем, не прощают: «Тащили тыкать в сову („разъясненную“ Шариком накануне – Ю. Л.), причем пес заливался горькими слезами и думал: „Бейте, только из квартиры не выгоняйте“ ... На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник». И хотя на прогулке «какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаивает его „барской сволочью“ и „шестеркой“», Шарик ничуть не расстраивается, ибо «Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречаемых псов». А когда – неслыханное дело! – «Федор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика», тот мысленно остер: «Ошейник – все равно, что портфель».

Несмотря на бурное противодействие поварахи, пес проникает и «в царство... Дарьи Петровны», на кухню, где «Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову». Отметим сравнение благородного ремесла кухарки с гнусной деятельностью заплечных дел мастеров, сходство со скальпелем хирурга ее «узкого ножа», кромсавшего рябчиков в присутствии Шарика, который днем смотрит на кухонные страсти-мордасти, а по вечерам «лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества (мы уже знаем, кто это – Ю. Л.), обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги». И, само собой, тихонько напевало:

– К берегам священным Нила.

То есть днем Шарик наблюдает кулинарную резню, вечером – медицинскую. Наконец, наступает «тот ужасный день», когда пес «еще утром» звериным чутьем ощущает неладное, потому и «полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку съел без всякого аппетита». А тут еще Борменталь «привез с собой дурно пахнущий чемодан, и даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую». Но мы-то понимаем: кто-то умер, ибо накануне профессор инструктировал ассистента:

– Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола – в питательную жидкость и ко мне!

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, – патологоанатомы мне обещали.

Кто умрет – для доктора совершенно неважно; главное – чтобы смерть человека была «подходящая». Узнав о приезде своего верного ученика, «Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю». Вдобавок «Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно». И – верх подлости и унижения! – Шарика, не успевшего даже позавтракать, «заманили и заперли в ванной». Когда «полутьма в ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться». «Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем встала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза». Словом, заваривается что-то недоброе.

Дальше – хуже. Шарика за ошейник тащат в смотровую, а там – «Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила (куда ж без этого – Ю. Л.) ... божество было все в белом, а поверх

белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки – в черных перчатках». Более всего пса поражают глаза «тяпнутого»: «Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были насторожены, фальшивы и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление». В качестве «Показания к операции» Борменталь записывает в своем дневнике: «Постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей». Первый раз собаку кладут на операционный стол ради благого дела – лечения ошпаренного бока, а теперь – для некоего непонятного эксперимента, причем в его положительном исходе экспериментатор совсем не уверен. Скорее наоборот – убежден в отрицательном, ведь «операция по проф. Преображенскому», как выясняется из заметок все того же Борменталья, «первая в Европе».

«У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее», а потом подумал: «Что же... Вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам...» Но это пес задремывает от стыда, лишь бы не слышать откровения развратных пациентов Преображенского, а эскулапам, приманившим и приручившим собаку, не стыдно. Говоря точнее, не стыдно профессору, ведь его глаза ничуть не изменились; его ассистентам все-таки неловко предавать доверяющую им псинку. «Животную», как потом выразится Шариков, хватают, усыпляют хлороформом и принимаются потрошить, причем в процессе гиппократ, орудуя скальпелем в турецком седле головного мозга (углублении, где помещается гипофиз), прямым текстом говорит:

– Если там у меня начнет кровоточить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету, – он помолчал, прищуря глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил:

– А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Как видим, Шарик даже в усыпленном виде не верит фальшивой жалости – крокодиловым слезам – Преображенского-божества. В самый напряженный момент, когда нельзя было терять ни мгновения, хирурги «заволновались, как убийцы, которые спешат». Как убийцы!

Я опускаю жутковатые медицинские подробности. Остановлюсь только на двух-трех, весьма колоритных. «Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору, и окропил его колпак». В фильме А. Латтуады профессору Преображенскому кровь Шарика попадает на очки (метафорически заливает глаза – Ю. Л.), вытираемые ассистенткой Зиной. И зловеще посверкивает золотая коронка во рту сурового жреца в куколке и со скальпелем! В описании МБ Преображенский «стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга». И далее: «Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника» ... В ответ на робкое замечание Борменталья насчет слабого пульса оперируемого «страшный Филипп Филиппович» сипит:

– Некогда рассуждать тут. ... Все равно помрет... – не забывая напевать: – К берегам священным Нила...

В самом конце операции «вдохновенный разбойник» спрашивает:

– Умер, конечно?..

Конечно, умрет. Попозже только. Люди добрые постараются.

Когда же «на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове... Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир». Затем потребовал у Зины «папиросу... свежее белье и ванну», «двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил» нечто вроде отходной по зарезанному им живому существу:

– Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

Итак. Перед хирургическим вмешательством врачи надевают колпаки, напоминающие «патриарший куколь», а «главврач» – еще и «резиновый узкий фартук», похожий на «эпидемиологический», для того чтобы не испачкать одежду кровью оперируемого. То есть снаружи «подельники» выглядят почти благостно, едва ли не как священники. Но как разительно их внешность отличается от их поведения! Они волнуются, «как убийцы»; Преображенский становится похож на «вдохновенного разбойника»; отваливается от прооперированного пса, «как сытый вампир», насосавшийся крови, – убийственная характеристика; а в ходе операции Борменталь, «как тигр», бросается на помощь профессору, чтобы зажать струю крови, брызнувшую из несчастного Шарика. Наконец, весьма красноречивый абзац: «Нож вскочил ему (профессору – Ю. Л.) в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули как скальп». Но главное – «величина мирового значения» абсолютно уверена в безнадежности опыта и производит его на авось: вдруг да получится, а если нет, то собакой больше, собакой меньше... Белый халат на Зине, напомню, походит на «саван», в который, вероятно, завернули бы пса, если бы тот издох. Но Шарик – на удивление премудрым гиппократам – оказывается невероятно живучим, потому что кормили его на убой – в буквальном смысле этого слова, – чтобы отъелся и мог выдержать операцию. Говоря словами автора, «пакостное дело, если не целое преступление» в «похабной квартирке» совершается. А если опыт начинается преступлением, едва ли он завершится чем-либо иным.

9. Перерождение

Нежданно-негаданное превращение собаки в человека происходит между католическим сочельником и православным Рождеством. Это лежит на поверхности и отмечается всеми комментаторами. В упомянутой мною Булгаковской энциклопедии начертано: «Происходит Преображение, только не Господне. Новый человек Шариков появляется на свет в ночь с 6-го на 7-е января – в православное Рождество. Но Полиграф Полиграфович – воплощение не Христа, а дьявола». Почему же, интересно знать, преобразование не Господне, если собаку в человека преобразует профессор Преображенский? Выходит, человек с сугубо христианской фамилией работает на сатану? Но других-то своих пациентов он же преобразует. Почему же не задается с псом? Происхождением не вышел? Что-то здесь не так. Не будем торопиться с выводами, а полистаем уже неоднократно цитированный мною послеоперационный дневник Борменталья.

«2 января. В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери».

Ругаться, конечно, нехорошо, тем более ругать матом того, кто является тебе отцом и матерью одновременно. Но ведь «папаша» Преображенский и сам ругается будь здоров. В свой же адрес слышать ругань профессор не привык, поэтому с ним, обматеренным, «в 1 час 13 мин.» случается «глубокий обморок», а «При падении» он «ударился головой о палку стула». Таким образом, пишет Борменталь, «Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату». К счастью, обошлось: больного ставят на ноги с помощью обыкновенных валериановых капель. Отметим: даже эту бранящуюся, пока еще слабо соображающую полусобачью личность ассистент профессора уже не может не считать человеком.

Новоизготовленный «гомо сапиенс» получает от «старожилов» первые уроки и вроде бы поддается обучению.

«10 января. Повторное систематическое обучение посещения уборной. ... следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад».

«12 января. ... «Отучаем от ругани». И в тот же день: «В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили».

Будучи честен и щепетилен вплоть до мелочей, Борменталь констатирует: «Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночью в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует». И первых вздох сожаления о содеянном: «Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры». Это вслед за предыдущей восторженной записью: «Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы – творец. (Клякса)». «Клякса» рядом с «творцом», замечу, весьма многозначительна.

В тот же день. «С Филиппом Филипповичем что-то странное делается. ... Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз». Дошло наконец-то! А еще профессор, ученый человек, европейское светило, величина мирового значения! Как можно было заранее не поинтересоваться, у кого взяты «гипофиз» и «мужские яичники с придатками и семенными канатиками»? Любопытная деталь. В записи от 23 декабря возраст мужчины, ставшего донором для пса, стоит «28 лет», а в записи от 12 января – «25 лет». Одно из двух: либо МБ не заметил расхождения при окончательной редакции, либо эскулапам глубоко плевать, у кого были изъяты соответствующие органы. С моей точки зрения, скорее всего второе: нашелся «подходящий» труп – и ладно. Подтверждение моего предположения обнаруживается в главе VIII, когда профессор переименовывает фамилию донора: «Клим Чугунов». На самом же деле его зовут: «Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий».

Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз – условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия – игра на балайке по трактирам. Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти – удар ножом в сердце в пивной („Стоп-сигнал“ у Преображенской заставы)». У Преображенской! Какая ослепительная «рифма» с фамилией профессора! Может быть, не ходи бедолага Чугункин в кабаки на Преображенской, не нарвался бы он там на нож (как Шарик – на скальпель) и не стал бы сырьем для жутких экспериментов эскулапа. А так – «примагничивает» бедолагу «преображенское тождество» трактира с профессором. Мистика да и только.

Кстати, более понятной становится уже приведенное мною замечание доктора Борменталья: «Такой кабак мы сделали с этим гипофизом...» Натуральный кабак (где зарезали Чугункина) превращается, если не сказать, преобразается в кабак (где изрезали собаку) в переносном смысле слова, то есть в беспорядок, хаос, бедлам.

Борменталь недоумевает: «Не все ли равно, чей гипофиз?» Ассистент еще ни о чем не догадывается, как и положено ассистенту, тогда как профессор, как положено профессору, уже осеивается: Спиноза из Чугункина – трижды судимого люмпена – вряд ли получится. Это подтверждает и дневниковая запись: «Когда я ему (профессору – Ю. Л.) рассказал... о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: „Вы думаете?“ Тон его зловещий. Неужели я ошибся?» Раньше надо было думать, до эксперимента, а не затевать эту, по словам МБ, чудовищную историю. Впрочем, Преображенский «заботился совсем о другом», а Шариков – «неожиданно явившееся существо, лабораторное», то есть непредусмотренный результат эксперимента.

Последняя запись.

«17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился.

- а) совершенный человек по строению тела;
- б) вес около трех пудов;
- в) рост маленький;
- г) голова маленькая;
- д) начал курить;
- е) ест человеческую пищу;
- ж) одевается самостоятельно;
- з) гладко ведет разговор....

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно сначала. ... Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского доктор Борменталь».

Понаблюдаем за эволюциями «организма» и мы.

10. Детский сад

Воспитание прооперированного пса начинается еще в дооперационный период. Разглагольствуя о разрухе, Филипп Филиппович произносит: «Это – мираж, дым, фикция». Эти слова отзываются в сознании Шарика, когда его накануне эксперимента запирают в ванной: «Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, – тосковал пес, сопя носом, – привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...» Это неслучайно, как неслучайно все в повести. Собака с благоговением относится к профессору, обожествляет его, впитывает все его высказывания и, кстати, тоже совсем не обожает пролетариат, немало от него натерпевшись, как и профессор, вынужденный сотрудничать с пролетарскими бонзами и принимать их покровительство.

Когда пес, ставший Шариком, выходит из-под скальпеля доктора неизвестно кем без роду без племени, его принимают обучать элементарным правилам общежития. Преображенский как в воду глядел, говоря о сортире в связи с разрухой. Если Дарья Петровна, Зина и сам профессор могли бы мочиться мимо унитаза только теоретически, то новый непрописанный жилец начинает это проделывать практически. Не по злой воле, а в силу собачье-атавистических наклонностей. Еще позавчера, помирая на воле, он справляет нужду где и когда хочет; вчера его в качестве пса-барина выводят для этой цели на улицу; теперь же ему, не привыкшему к своей человеческой ипостаси, навязывают непонятный пока сортир. Будущий Шариков, проявив недюжинные умственные способности, справляется не только с ним, но перестает бросаться на стекла, видя в них свое отражение, и даже прекращает браниться. Тут бы развить успех, завалить подопечного соответствующей его возрасту литературой («Надо будет Робинзона», – подумает Филипп Филиппович, когда будет уже поздно.), вообще посадить за парту, наконец, попытаться развить и как-то пристроить к делу его явные музыкальные способности, ибо «Очень настойчиво с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке...» Но «звук хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки (о самом себе, писанина Швондера – Ю. Л.) в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

– Све-е-етит месяц... Све-е-етит месяц... Светит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия! (Ну да, это ведь народная музыка, а не Верди и не романс Чайковского на стихи Толстого – Ю. Л.).

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

– Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Процесс воспитания продолжается. Но насколько гениален профессор как хирург, настолько бездарен как педагог. Все-то у него с рывка да с толчка, с бранью, попреками, криками, неуместными или непонятными для новорожденного человека требованиями и ограничениями. Это тоже обучение, но какое-то дефективное, видимо, под стать дефективному пациенту (вспомним: социально дефективными считались беспризорники в «Республике ШКИД» Л. Пантелеева и Г. Белых). Причем интересы воспитуемого отвергаются воспитателем напрочь.

– Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатах в кухне – тем более днем?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

– Воздух в кухне приятнее....

– Спать на полатах прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Начав с морали, Филипп Филиппович переходит к одежде, поскольку, облачение «человека маленького роста и несимпатичной наружности» буквально режет ему глаза: «На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами».

– Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

– Чем же «гадость»? – заговорил он, – шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

– Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить при-лич-ные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

– Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий – все в лаковых.

Откуда, в самом деле, «человек маленького роста и несимпатичной наружности» может знать, что «при-лич-но», а что нет, если только вчера он был собакой, с одной стороны, и трактирным балалаечником, с другой? Где он рос, кто его воспитывал, кто прививал ему понятие о вкусе? Никто. Тогда что с него требовать? Не требует же профессор хорошего вкуса от Дарьи Петровны, подарившей новому человеку «гадость» и «мерзость». Преображенский устраняется и от этого вопроса – как и от всех прочих, связанных с подлинным преображением «Шарика в очень высокую психическую личность», – и получает то, что из него получилось: экс-пес воспринимает массовый, уличный вкус. И кого в этом винить? Тем более глупо призывать только-только возникшее «лабораторное существо» посмотреть на себя со стороны:

– Вы... ты... вы... посмотрите на себя в зеркало на что вы похожи. Балаган какой-то.

Допустим, человечек на самом деле смотрит и что, ужасается увиденному? Едва ли. Напротив: увиденное ему ужасно нравится, иначе зачем он навешивает на себя столь безвкусный, с точки зрения профессора, галстук?

Иные требования доктора справедливы:

– С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! ... Окурки на пол не бросать – в сотый раз прошу. ... С писсуаром обращаться аккуратно. ... Не плевать! Вот плевательница.

Другие тоже справедливы, но, так сказать, в одностороннем порядке:

– Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! – ведь доктор в повести ругается больше всех.

Например, когда Шариков, украв два червонца, пытается свалить вину на Зину, а та «немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице», доктор ее «утешает» следующим образом:

– Ну, Зина, ты – дура, прости господи...

Не случайно человечек, еще не ставший Полиграфом Полиграфовичем, но объявивший об этом, резонно замечает Преображенскому:

– Что-то не пойму я, – заговорил он весело и осмысленно. – Мне по матушке нельзя. Плевать – нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере.

Тем самым будущий Полиграф Шариков показывает, что он совсем не глуп, умеет наблюдать и делать выводы о происходящем. Он попадает не в бровь, а в глаз профессору, потому что «Филипп Филиппович налил кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напив-

шись из другого, подумал: „Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя“. А чуть раньше он в раздражении отмачивает очевидную глупость:

– Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

– Что я, каторжный? – удивился человек и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. – Как это так «шляться»?! Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди.

На что «Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. „Надо все-таки сдерживать себя“, – подумал он».

Давно забыты тары-бары о том, что «Единственный способ, который возможен в обращении с живым существом», – это ласка. Сейчас не до ласки, только бы не сорваться, не перейти на крик, не взбелениться. А может, надо было все-таки попробовать лаской? Получилось довольно скверное «экспериментальное существо», возможно, это даже, по утверждению прозревшего в дальнейшем профессора, это:

– Клим, Клим... Клим Чугунков... вот что-с: две судимости, алкоголизм, «все поделить», шапка и два червонца пропали... хам и свинья...

Но поговорить по душам, приобнять, похвалить за виртуозную игру на балалайке разве трудно было? Впрочем, максимум об ответственности за тех, кого мы приручаем, А. Сент-Экзюпери тогда еще не вывел. Но ведь нельзя выказывать к своему же собственному детищу такое пренебрежение – вплоть до того, что не дать ему от рождения абсолютно никакого имени!

– Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии, – недоуменно вопрошает Преображенский.

Собаке, приведенной с улицы, профессор дает имя; человека, полученного лабораторным путем, назвать не удосуживается. Безымянное нечто бродит по квартире своего «отца», «отчима» или «второго отца», давшему ему человеческую жизнь, ест, пьет, раздражает насельников советского оазиса своим видом, треплет им нервы безобразным поведением, наносит им и их имуществу тот или иной ущерб, но при этом у всех есть имена, а у него – нет. Большей невнимательности к живой твари, тем более делу рук своих, со стороны творца представить трудно. Хоть бы Ваней, Иваном Ивановичем нарекли, что ли. Все общаются с ним, ведут разговоры, командуют, распекают, – но при этом никак не называют! Никто – даже ассистент, не говоря уже о прислуге, людях, подчиненных профессору, – никто не задает вопроса: «А как звать этого человека? Как к нему обращаться?» Даже у безобразного горбуна Квазимодо (В. Гюго. Собор Парижской Богоматери) и у омерзительного Калибана, сына ведьмы Сикораксы (У. Шекспир. Буря) есть имена. И только прооперированный доктором пациент лишен этого столь необходимого для жизни атрибута.

Можно себе представить, как Швондер встречает бывшего пса, такого человека-недотыкомку, на лестнице и спрашивает: «Товарищ, вы кто?» – «Не знаю», – смущенно отвечает тот». – «Как это?» – удивляется Швондер. – «Не знаю», – пожимает плечами человек, впервые, быть может, осознающий, что и у него должно быть имя. – «Как вас зовут, знаете?» – продолжает допытываться Швондер. – «Нет». – «А к кому вы пришли?» – «Ни к кому. Я здесь живу». – «Как это? Откуда же вы здесь взялись?» – «Меня профессор оперировал...» Такого рода диалог вполне себе представим, ведь в отличие от профессора «преlestный домком», хотя бы в лице того же Швондера, относится к новому жильцу более чем терпимо:

– Встречают, спрашивают – когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься? – говорит «неожиданно явившееся существо».

Вот «многоуважаемый» и притуляется к тем, кто его хотя бы внешне уважает, – мудрено ли? Не без подачи председателя домкома, не могущего «допустить пребывания в доме

бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией», человек «победоносно» заявляет:

– Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш.

– Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

– Полиграф Полиграфович.

– Не валяйте дурака, – хмуро отозвался Филипп Филиппович, – я с вами серьезно говорю.

Недоумение профессора вроде бы вполне законно, но, с другой стороны, он опять выказывает себя не вполне сведущим в текущем моменте: по сравнению с тогдашними именами вроде Даздраперма (да здравствует первое мая), Больжedor (большевиcтская железная дорога), Тролебузина (от сокращения фамилий Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев) Полиграф выглядит более-менее прилично, во всяком случае, не выпадает из тогдашней тенденции. Впрочем, профессор не читает «советских газет» и может быть не в курсе принятого в ту пору имянаречения. Но если вы даже не думаете назвать выведенное вами существо хотя бы Иваном Ивановичем – получите Полиграфа Полиграфовича! Ладно, имя «пропечатано в газете и шабаш», но Преображенскому нейдет: он продолжает унижать Шарикова. Когда «из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал доктора Борменталья.

– Борменталь!

– Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! – отозвался Борменталь, меняясь в лице....

– Ну и меня называйте по имени и отчеству! – совершенно основательно ответил Шариков (это речь автора – Ю. Л.).

– Нет! – загремел в дверях Филипп Филиппович. – По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть».

Почему? На каком основании? По какому праву профессор запрещает человеку называться своим собственным именем? Потому что «рылом не вышел» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя)?

Об имени Полиграф разговор впереди, а пока еще один урок Филиппа Филипповича Преображенского Полиграфу Полиграфовичу, принявшему «наследственную фамилию» Шариков. На сей раз это урок того, как подобает относиться к инакомыслию. Усомнившись в словах последнего насчет существования имени Полиграф, профессор как «человек фактов», заявляет:

– Ни в каком календаре ничего подобного быть не может, – а убедившись в правоте Шарикова, велит Зине сжечь календарь:

– В печку его.

За обедом еще хлеще. С изумлением узнав о том, что Шариков читает «переписку Энгельса с этим... как его – дьявола – с Каутским», профессор снова вызывает прислугу.

– Зина, там в приемной... Она в приемной?

– В приемной, – покорно ответил Шариков, – зеленая, как купорос.

– Зеленая книжка...

– Ну, сейчас палить, – отчаянно воскликнул Шариков, – она казенная, из библиотеки!

– Переписка – называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Даже Шариков понимает, что библиотечную книгу «палить» нельзя, даже если она вам не нравится, но профессору закон не писан. Когда в Германии запыхают костры из таких и многих других книг, «палить» их будут отнюдь не профессора.

– Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? – спрашивает эскулап, на что получает резонный ответ:

– Все у вас негодяи, – говорит Шариков и он абсолютно прав.

Кстати, и Шариков, и Преображенский запинаятся на фамилии Каутский, только первый называет его чертом, второй – дьяволом, – весьма любопытный штришок к совместному портрету «творца» и сотворенной им «твари».

В конце обеда Преображенский, разъяренный тем, что из-за наводнения, накануне устроенного в квартире его подопечным, пришлось отказать в приеме 39 пациентам и вследствие этого недополучить 390 рублей, договаривается до чудовищных вещей:

– Вы стоите на самой низшей ступени развития... вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить...

Во-первых, культурный человек никогда не станет кичиться ни своим умом, ни образованием, ни тем более говорить такие вещи в лицо человеку, пусть менее умному и образованному. За подобные слова в приличной компании бьют в морду даже профессорам. Во-вторых, если человеку каждый день твердить, что он – животное, ничего, кроме скотины, из него не выйдет. Тем в итоге и заканчивается. В-третьих, мысль о том, «как все поделить», рождается отнюдь не в голове Шарикова или Швондера. Это искаженное, утрированное, грубое отражение идей, высказанных другими людьми «с университетским образованием», – К. Марксом и тем же Ф. Энгельсом. А если ты не согласен с этими идеями, то полемизировать с ними следует при помощи других идей, а не путем оскорблений и унижений оппонента.

– Ну вот-с, – гремел Филипп Филиппович, – зарубите себе на носу... Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества.

Все верно: было должно молчать и слушать, ведь профессор и ему подобные «любят бессловесных» (А. Грибоедов. Горе от ума), не делающих даже попытки отстоять свое человеческое достоинство. А последняя фраза – «учиться и стараться...», – с точки зрения ученого, означает, что Полиграф должен стать либо швейцаром, либо кухаркой, либо прислугой, в лучшем случае, ассистентом доктора Преображенского, работать на него, создавать ему комфортную жизнь и не лезть не в свое дело. Дескать, куда ему, рабочему-то классу, до учебы, пусть лучше «чисткой сараев» занимается, «прямым своим делом». А он будет помыкать им, совать рубли и трояки за мелкие услуги и только в исключительных случаях сажать их – как Борменталья и Шарикова (куда ж от него денешься!) – за свой стол. Посредством профессора МБ, вероятно, иронизирует над плакатной максимой вождя мирового пролетариата «Учиться, учиться и учиться», а если точнее – над цитатой из статьи В. И. Ленина «Попытное направление в русской социал-демократии»: «В то время, как образованное общество теряет интерес к честной, нелегальной литературе, среди рабочих растет страстное стремление к знанию и к социализму, среди рабочих выделяются настоящие герои, которые – несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, – находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, «рабочую интеллигенцию»» (В. И. Ленин. ПСС. Т. 4).

Оказавшись в условиях такого психологического концлагеря, Шариков, которому отроду было едва ли месяц, должен был как-то выживать. И он пытается – насколько ему позволяют его умственные способности, генетическая предрасположенность и куцый человеческий опыт.

11. Что в имени тебе моем?

В связи с именем Полиграф Б. Соколов в своей Булгаковской энциклопедии упомянул о каком-то «вымышленном «святом» в новых советских «святцах», предписывающих праздновать День полиграфиста». Однако в интернет-океане мне удалось выудить информацию, куда больше похожую на достоверную, поскольку ее автор ссылается на крупнейшего российского специалиста по антропонимике (раздел ономастики, изучающий антропонимы – имена людей), доктора филологических наук, профессора А. В. Суперанскую. Цитирую: «С 1924-го по 1930 гг. даже издавался специальный календарь – своеобразные революционные святцы. В нем были отмечены все более или менее знаменательные с точки зрения мировой революции даты. И к каждой придуманы имена, которыми рекомендовано называть родившихся в этот день младенцев. ... В честь пролетарской полиграфической промышленности предлагалось женское имя Полиграфа. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Полиграф Полиграфович – не совсем плод воображения Булгакова» (Наталья Гриднева. Повесть именных лет. Коммерсантъ Власть). Как видим, никакого «святого» по имени Полиграф отродясь не было. В повести сказано: «Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

– Где?

– 4-го марта празднуется», – ответило ему новорожденное существо.

Что именно праздновалось 4-го марта 1925 г., уточнить не представляется возможным, поэтому положимся на мнение вышеуказанного профессионала.

К полиграфу – детектору лжи – имя Полиграф не имеет ни малейшего отношения. Его начали разрабатывать за границей в начале 20-х годов прошлого века, и МБ вряд ли мог об этом знать. Да и «окрестили» детектор лжи полиграфом не так уж давно. А вот «Полиграф» как «Авторъ многочисленныхъ сочинений по разнороднымъ предметамъ» и как «Копировальная машина (Словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка. Составленъ подъ редакціею А. Н. Чудинова. С.-Петербургъ. Изданіе книгопродавца В. И. Губинскаго. 1894)», несомненно был известен автору СС. Первое значение нам без надобности, второе подходит как нельзя лучше. В контексте «Собачьего сердца» имя Полиграф можно истолковать как копию, а Полиграф Полиграфович как копию с копии. Копию кого? Вероятно, копию с копии полноценного человека, как это показано в повести. Преображенский в какой-то мере прав, говоря, что Полиграф «еще только формирующееся... существо», начавшее формироваться по воле профессора и так до конца и не сформировавшееся благодаря ему же. Впрочем, считать Шарикова только копией или копией копии человека не стоит. Этому противоречат слова Преображенского, сказанные им Борменталю накануне обратного превращения человека в собаку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.